



ОЛЕГ ПЕТ
СЛОВО
В КОНЦЕ ПУТИ

Олег Пет

Слово в конце пути

<https://litres.ru/74110718>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждый человек носит в себе тень прошлого — историю своей семьи, её ошибки, её боль. Клаус, родившийся в Нюрнберге, внук солдата, погибшего под Сталинградом, с детства чувствует эту тяжесть. Он ищет ответ в идеях, в истории, в любви — и находит Марту, женщину, которая смотрит на него без оглядки на прошлое. Но один шаг, одна привычка, одно пиво — и хрупкое счастье рушится. Проходят годы, одиночество становится домом, а идеи — лишь призраками, греющими холодными ночами. И только во сне, в разговоре с мёртвым дедом, Клаус начинает понимать, что настоящая война — не за территории, а за сердце человека. Что любовь — единственное, что не умирает, даже когда всё остальное уже потеряно.

Олег Пет

Слово в конце пути

Слово в конце пути

Роман

Глава первая. Пиво в Берлине

Осенью 1989 года Западный Берлин пах мокрым асфальтом и жареным луком из уличных закусовых. Клаусу было девятнадцать, он только что поступил на исторический факультет имени Гумбольдта и чувствовал себя чужим в этом городе, который жил своей жизнью, шумной, яркой, словно нарочито беспечной. В его родном Нюрнберге время текло иначе — медленнее, тяжелее, будто каждый камень мостовой помнил шаги солдат и стоны эвакуированных. Здесь, в Берлине, стена была осязаемой реальностью, но молодёжь предпочитала не замечать её, прячась в подвалах с пивом и музыкой.

Клаус пришёл в «Альте Брауэрай» с Фрицем и ещё двумя сокурсниками — долговязым Томасом, вечно цитировав-

шим Ницше, и тихой Лоттой, которая мечтала стать археологом. Дым от сигарет слоился под потолком, смешиваясь с паром от горячего супа. Фриц заказал четыре кружки тёмного пива и со смехом пододвинул одну Клаусу.

— Первый раз? — спросил он, прищурившись. — Ты смотришь на кружку, будто на гранату.

Клаус провёл пальцем по влажному боку стеклянного сосуда. Пена сползала, обнажая мутную коричневую жидкость. Ему вспомнился дед на той единственной фотографии — с таким же растерянным взглядом, с кружкой в руке, сделанной за несколько дней до отправки на Восток. Мать прятала этот снимок в коробке из-под обуви. Клаус нашёл его случайно, когда ему было двенадцать, и долго не мог уснуть, представляя, как дед пьёт на прощание, а вокруг — весна, деревья цветут яблонями, и никто не знает, что он умрёт в снегах под Сталинградом.

Первый глоток обжёг горло. Горький, дрожжевой вкус показался ему отвратительным — он напоминал лекарство, которое мать заставляла его пить от кашля. Клаус закашлялся, Фриц расхохотался.

— Не торопись, — сказал Томас, затягиваясь сигаретой. — Пиво — это не водка. Оно берёт не силой, а терпением.

Клаус послушно сделал ещё глоток. Потом третий. И вдруг заметил, что вкус меняется: уходит резкость, появляется что-то хлебное, почти уютное. Он выпил полкружки, и по телу разлилась теплая волна. Голова стала лёгкой, словно наполненной гелием, мысли перестали цепляться друг за друга. За столом заговорили о войне во Вьетнаме, о новых фильмах, о девушках. Клаус слушал, но слова долетали до него приглушённо, будто через толщу воды.

Ему понравилось это состояние. Понравилось, что он перестаёт быть собой — Клаусом, который вечно думает о прошлом, о долге, о том, что он — внук солдата вермахта, а значит, несёт какое-то смутное проклятие. В пиве он находил временную свободу, право забыть. И в тот вечер он ещё не знал, что эта свобода станет его цепью.

Потом они начали ходить по пивнушкам каждую неделю. Берлин после заката превращался в лабиринт тёплых огней, где за каждой дверью гремела музыка, звенели кружки и смеялись незнакомые голоса. Клаус, Фриц и Томас обходили квартал за кварталом — от Кройцберга до Шарлоттенбурга, от студенческих кабаков до прокуренных подвалов с тяжёлым немецким роком. Лотта иногда приходила с ними,

но чаще сидела в углу с книгой, пока они пили и спорили о политике, о Брандте, о стене, которая вот-вот падёт — или не падёт никогда.

Клаус быстро научился пить. Второе пиво уже не казалось горьким, третье — почти сладким, а после четвёртого он начинал чувствовать себя неуязвимым. В такие моменты ему казалось, что он может говорить о чём угодно — о Гитлере, о концлагерях, о своём деде — без дрожи в голосе. Алкоголь стирал остроту боли, делал историю абстракцией, а не раной, кровоточащей в груди.

Но иногда, когда они выходили из очередного бара и брели по мокрым улицам, Клаус останавливался у витрин, где отражался его собственный силуэт. Он смотрел на прохожих — пожилых мужчин с седыми висками, которые могли быть солдатами той войны. Они сидели в тех же пивных, пили то же пиво, но их глаза были пусты. И Клаус думал: «Вот так же мой дед мог сидеть здесь, в этой самой пивной, в серой шинели с погонами, с впалыми щеками и пустым взглядом. Он тоже был молод, когда его отправили на Восток. Он тоже смеялся с товарищами, пил шнапс и не знал, что умрёт в чужой степи, зарытый в песок у Волги».

Он часто возвращался к этой мысли. В каждом старике, застигнутом врасплох воспоминаниями, ему виделся дед. В

каждом тосте, поднятном за здоровье, звучал отголосок того прощания — весеннего, яблоневого, обречённого. Клаус пытался представить, что бы он сказал деду, если бы мог встретить его здесь, в Берлине, за одним столом. Спросил бы: «Ты верил в то, за что воевал? Или просто боялся быть трусом?» Но дед молчал, как молчат фотографии, как молчат кости, оставленные в чужой земле.

Однажды вечером, после особенно долгой выпивки, Фриц предложил зайти в квартал, где тускло горели красные фонари. Там, в узких переулках, стояли женщины в коротких платьях, курили и ждали. Клаус никогда не был у подобных женщин. Он вообще не был с женщинами — только целовал несколько раз однокурсниц, и то по пьяни. Фриц сказал: «Пора стать мужчиной, Клаус. Это просто, деньги — и всё». Томас засмеялся, Лотта отвернулась и ушла домой.

Клаус колебался. Ему было любопытно, но что-то внутри сопротивлялось. Он смотрел на эти лица, подсвеченные неонами, на крашенные волосы, на усталые улыбки — и видел в них ту же пустоту, что и в глазах старых солдат. Но друзья подталкивали его, смеялись, называли маменькиным сынком. И он сдался.

Он выбрал ту, что казалась самой молодой и самой безразличной — может быть, потому что безразличие меньше обнадёживало. Она взяла его за руку и повела в комнату с обоями в цветочек, с продавленной кроватью и мутным зеркалом. Запах дешёвых духов смешивался с запахом сигаретного дыма. Она разделась быстро, без слов, легла на спину и утонула в потолок. Клаус сделал то, что должен был сделать, но всё это время чувствовал себя механизмом, а не человеком. Её тело было тёплым, но чужим. Её руки лежали вдоль тела, как у мёртвой. Она не смотрела на него, не касалась его, не шептала имя.

Когда всё кончилось, он встал и натянул джинсы. Она уже пересчитывала марки, не глядя на него. Клаус хотел сказать что-то доброе, спросить, как её зовут, но она уже повернулась к стене и закурила. Он вышел на улицу, вдохнул холодный воздух, и его вырвало в сточную канаву.

Фриц и Томас ждали его у входа, посмеивались. «Ну как?» — спросил Фриц. Клаус вытер рот рукавом и сказал тихо, но твёрдо: «Купленная любовь — не для меня. Никогда больше». Он пошёл прочь, не оглядываясь, чувствуя на спине их удивлённые взгляды. Он шёл по ночному Берлину, мимо освещённых окон, мимо пар, обнимавшихся на скамейках, и думал о том, что любовь — это не сделка. Это то, что случается, когда двое смотрят друг на друга не сквозь, а в глаза.

за. Когда касания — не механические, а живые. И он понял, что готов ждать этого сколько угодно, даже если не дождётся никогда.

С того вечера он избегал квартала красных фонарей. Друзья ещё подшучивали над ним, но он не обижался. Он знал, что они не понимают — для них секс был отдельно, чувства отдельно. Для Клауса же они были одним целым. И если одно нельзя купить, то и другое теряет смысл.

Вернувшись в общежитие тем поздним вечером, он долго стоял у открытого окна, глядя на тусклые огни Западного Берлина. Ночной воздух был сырым, пахло дымом и прелыми листьями. Он вспомнил мать, её фиалковый запах, её руки, пахнувшие скипидаром — она реставрировала картины в музее нацизма. Ей было пятьдесят, она всё ещё надеялась на возвращение отца, который жил в другой семье, не писал, не звонил. Клаус не знал, что такое настоящая семья. Он знал только мать и её вечную тишину, её невысказанную тоску.

«Пиво помогает», — подумал он тогда. «Пиво лечит. Настоящую любовь не купить. Но если я не найду её, то, может быть, пиво заменит мне всё». Это была самая большая ложь, которую он решил принять за правду. И в тот миг он уже знал, что будет возвращаться к ней снова и снова — к пиву, к забвению, к этому дешёвому суррогату свободы, который

так легко продаётся и так дорого обходится.

Глава вторая. Фиалки и мокрая земля

Цветочная лавка приютилась в старой арке, между магазином пластинок и кафе, где подавали кофе с яблочным штруделем. Клаус проходил мимо каждый день, но никогда не заглядывал внутрь — до того утра, когда мать позвонила из Нюрнберга и сказала: «Я приезжаю в Берлин на три дня, привези мне цветы. Белые. Любые белые». Она говорила ровно, будто зачитывала инструкцию, и только в паузе Клаус услышал лёгкую одышку — мать курила, хотя врачи запрещали. В трубке потрескивало, и Клаус представил её на кухне: сигарета в длинных пальцах, пепельница из голубого стекла, которую она купила ещё в семидесятых. Она никогда не жаловалась, но он знал, что она устала. Устала от одиночества, от работы, от того, что каждый день смотрит на фотографии людей, которых больше нет.

Он толкнул дверь, и его окатило паром, смешанным с запахом влажного торфа и миллионов растений. Было тесно: стеллажи с розами, хризантемами, гвоздиками, лилиями, повсюду зелень, свисающая с потолка, кадки с пальмами, в углу — ведро с мокрыми ветками эвкалипта. Пахло так, как

пахнет жизнь — сырая, упрямая, зелёная. Клаус на мгновение зажмурился: этот запах напоминал ему бабушкин сад, которого он не застал, но который представлял по рассказам матери. Там росли яблони и кусты сирени, и воздух был таким же густым и сладким.

За прилавком стояла молодая женщина и перебирала стебли. Она повернулась на звон колокольчика, и Клаус замер. У неё были каштановые волосы, небрежно собранные в узел, серая шерстяная кофта с заплаткой на локте и передник, испачканный землёй. На кофте он заметил тонкую нитку — выбившуюся из ткани, будто её кто-то дёрнул в спешке. Но главное — глаза. Серые, с тёплым оттенком, они смотрели на мир с такой спокойной добротой, будто этот мир, несмотря на все его войны, заслуживал прощения. Клаус почувствовал, как у него пересохло во рту, и он вдруг осознал, что забыл, зачем пришёл.

— Вам помочь? — спросила она. Голос был низким, чуть хриплым, как у людей, которые много читают вслух. Он заметил, что она говорила медленно, словно взвешивала каждое слово, и это придавало её речи особую мягкость.

— Мне... мне нужны белые цветы. Для матери. — Его собственный голос прозвучал сипло, и он кашлянул, чтобы скрыть смущение.

Она улыбнулась. Улыбка была чуть застенчивой, с ямочками на щеках, и от неё у Клауса перехватило дыхание. Он подумал, что такой улыбкой можно было бы растопить лёд даже в самый холодный день.

— Белые — это хорошо. Они говорят о мире. О чистоте. «Ваша мать любит розы?» —спросила она, уже поворачиваясь к стеллажу, где стояли ведра с водой.

— Не знаю. Наверное.

— Тогда возьмём белые розы. Они пахнут так, будто их только что вытащили из рая. — Она рассмеялась, и смех был лёгким, почти музыкальным, словно она сама удивлялась своей фантазии.

Она начала собирать букет — аккуратно, почти с религиозным трепетом. Клаус смотрел на её руки: длинные пальцы, тонкие, но сильные, с коротко остриженными ногтями. На указательном пальце он заметил старое пятно от чернил — может быть, она много писала, или рисовала, или просто вела дневник. Каждое движение было выверенным, мягким, словно она перелистывала страницы редкой книги. Она отбирала цветы, стряхивала лишнюю воду, обрезала стебли под углом, чтобы они лучше стояли в вазе. Иногда она оста-

навливалась и поправляла один бутон, поднося его к свету, будто проверяла, достаточно ли он бел. Он вдруг понял, что ему не хочется уходить. Ему хочется стоять здесь вечно, вдыхать этот сырой, живой воздух и смотреть, как она работает.

— Вы студент? — спросила она, не поднимая головы, но он почувствовал, что она улыбается.

— Да. Исторический факультет. — Он сказал это и сразу пожалел — ему показалось, что это звучит слишком серьёзно, почти скучно.

— История — это интересно. Я тоже люблю историю, но у меня искусствоведческое образование. Закончила в прошлом году, не могу найти работу по специальности. Так и торчу здесь, среди фикусов. — Она рассмеялась — коротко, но очень искренне, и Клаус заметил, как её плечи чуть расслабились. — Меня зовут Марта.

— Клаус.

— Приятно, Клаус. — Она протянула ему готовый букет, перевязанный бечёвкой. — Двадцать марок.

Он заплатил, взял цветы и почувствовал исходящий от букета запах — сладкий, чуть пряный. Но среди нот роз ему

почудился другой аромат — что-то напоминавшее фиалки. Тот самый, что исходил от неё. Или от кофты. Или от кожи. Он не мог понять, но этот запах вдруг стал для него самым важным в мире.

На выходе он обернулся. Марта уже повернулась к стеллажу и что-то поправляла, но будто почувствовала его взгляд — вновь улыбнулась, чуть заметно кивнула. Клаус вышел на улицу, и Берлин показался ему другим — более зелёным, более тёплым. Он сжимал букет в руках и чувствовал, как земля, оставшаяся на стеблях, пачкает ладонь. Это была лучшая грязь в его жизни.

Мать, увидев цветы, сказала: «Они прекрасны». И добавила: «Ты влюблён». Клаус хотел возразить, но понял, что это правда. Впервые в жизни он влюбился не в прошлое, не в память о деде, не в идею справедливости — а в живую женщину, пахнущую землёй и фиалками. Он вернулся в цветочную лавку на следующий день, сказав себе, что ему нужны ещё цветы для матери, хотя мать уже уехала.

Глава третья. Ночная Шпрее и обещания

Берлин после полуночи был городом призраков. Бледные

фонари отражались в чёрной воде Шпрее, мосты вздыхали под тяжестью редких машин, а по набережной бродили парочки и бездомные, путаясь в собственных тенях. Клаус и Марта гуляли так каждую субботу — сначала по восточной стороне, где стена всё ещё стояла, но уже не казалась такой непреодолимой, потом вдоль Шарлоттенбурга, мимо старого замка, облитого лунным светом. Ветер был прохладным, солоноватым, как будто река несла с собой запах моря, хотя моря здесь не было.

В этот вечер было особенно тихо. Где-то вдалеке играла музыка — джаз, саксофон рыдал о чём-то невысказанном. Клаус держал Марту за руку и чувствовал, как её пальцы переплетаются с его, как тепло передаётся через кожу. Она была в том же сером пальто, что и всегда, и он заметил, что на воротнике вышит маленький цветок — фиалка. Он не спросил, откуда, но эта деталь почему-то тронула его до глубины души.

— Я думала, ты сегодня не придёшь, — сказала она, и её голос прозвучал чуть встревоженно. — У тебя был вид уставшего человека.

— Я и есть уставший. Война в памяти не кончается. Мы читаем лекции о нацизме, видим фотографии, слышим цифры. Мой дед погиб под Сталинградом. Его нет в списках по-

терь, но мать говорит, что он был там. И я всё время думаю: если бы он выжил, каким бы я был? Был бы я другим? — Он замолчал, глядя на тёмную воду. — Мне кажется, я ношу его форму, хотя никогда её не надевал. Это как проклятие.

Марта остановилась. Она взяла его лицо в ладони и пристально посмотрела в глаза. Её пальцы были прохладными, но он почувствовал, как от них исходит спокойствие.

— Ты не виноват в том, что сделали другие. Твой дед был солдатом. Может, он был жестоким, может, добрым — мы никогда не узнаем. Но ты — это ты. Ты не обязан носить его униформу. — Она говорила твёрдо, без колебаний, и Клаус почувствовал, что верит ей.

— Легко говорить, — сказал он, но в голосе уже не было прежней горечи.

— Ничего не легко. Но я здесь, Клаус. Я рядом. И я говорю тебе: возможно я полюблю тебя. Не за то, кем был твой дед. Не за то, что ты немец. А за то, что ты тот, кто покупает цветы для матери и гуляет со мной по ночам. — Она улыбнулась, и её улыбка была такой искренней, что у него защи-пало в глазах.

Он притянул её к себе. Поцелуй был долгим, тёплым, пах-

нушим её мятной помадой и берлинской сыростью. В этот момент Клаус поклялся себе, что никогда не причинит ей боль. Что сделает всё, чтобы быть достойным её доверия. Но внутри, где-то в глубине, заняло смутное беспокойство — ему казалось, что он не справится. Что его тень, тень деда и войны, слишком длинна, слишком черна, чтобы он мог уйти от неё.

Они прошли ещё немного, до скамейки под старым дубом. Дуб был огромным, с корявыми ветвями, которые тянулись к воде, словно руки утопленников. Марта села, положила голову ему на плечо. Он чувствовал, как её дыхание успокаивается, как она доверяет ему всё своё тело.

— Расскажи мне о своей матери, — попросила она.

— Она тихая. Работает в музее нацизма. Реставрирует картины. Однажды она показала мне полотно с изображением горящего Рейхстага. Сказала: «Это наша история. Мы должны помнить, чтобы не повторить». Она никогда не плачет. Но я чувствую, что она плачет внутри. — Он замялся, потом добавил: — Когда я был маленьким, она иногда сидела в тёмной комнате, не зажигая свет. Я боялся входить, но потом привык. Это был её способ быть одной.

— А отец? — спросила Марта тихо, почти шёпотом.

— Он ушёл, когда мне было три. Живёт с другой семьёй. Я его почти не видел. Мать сказала однажды: «Он выбрал лёгкую жизнь». Я тогда не понял, что это значит. Теперь понимаю. Лёгкая жизнь — это когда ты не берёшь на себя чужую боль. Но я, кажется, выбрал нелёгкую.

Марта молчала. Потом взяла его руку и поцеловала костяшки пальцев — медленно, с какой-то особенной нежностью, словно хотела запечатлеть это мгновение.

— У тебя хорошие руки, Клаус. Они созданы для того, чтобы держать цветы и гладить детские головы. Не для войны. Не для одиночества. — Она подняла на него глаза, и в них блеснул лунный свет. — Ты можешь быть кем угодно, но ты уже выбрал быть добрым. И это важнее всех идеологий.

Он закрыл глаза. Ему хотелось, чтобы эта ночь длилась вечно. Он знал, что завтра снова пойдёт в университет, снова услышит лекции о зверствах, снова увидит стену, разделяющую город. Но сейчас, с Мартой, он чувствовал себя защищённым. Словно она была тем самым белым цветком, который держит на себе свет. Он сжал её руку и прошептал:

— Не уходи от меня, ладно? Никогда.

— Не уйду, — ответила она, и её голос был твёрже, чем он ожидал. — Пока ты не попросишь.

Он не знал, что однажды попросит. Не словами — молча-нием, бутылкой, уходом в себя. Но в ту ночь он верил, что это никогда не случится.

Глава четвертая. Идеи и стена

В те выходные Марта сказала: «Поехали к моим родителям. В Восточный Берлин. Ты ещё не был по ту сторону». Она говорила это буднично, но в голосе слышалась напряжённость — словно она приглашала его не просто в гости, а на экзамен. Клаус знал, что её отец, Гюнтер, был старым коммунистом, работал на заводе, верил в светлое будущее так же твёрдо, как его мать верила в искупление через память. Мать Марты, Эльза, преподавала русский язык в школе и переводила стихи Маяковского. Он слышал о них много, но никогда не встречал. Он боялся этого визита больше, чем экзамена по новейшей истории.

Они пересекли границу на Фридрихштрассе — пограничники долго смотрели на документы, машина Клауса казалась чужой на этой стороне. Восточный Берлин встретил их серы-

ми домами, редкими вывесками и трамваями, которые двигались бесшумно, как призраки. Воздух пах иначе — углём и дешёвым табаком, но в нём было что-то твёрдое, будто сама земля держала идею, которая не хотела умирать. Клаус заметил, что здесь больше зелени — старые липы вдоль улиц, парки с фонтанами, которые в Западном Берлине уже давно заменили парковками. Но всё это казалось застывшим, как музейный экспонат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.